

ИВАН АЛЕКСѢВИЧ БУНИН

29 января 1920 года, на послѣднем уходившем из Одессы пароходѣ, И. А. Бунин покидал Россію, — в Одессу входили большевики.

«На горѣ в городѣ был в этот промозглый зимній день тот промежуток в борьбѣ, то безвластіе, та зловѣщая безлюдность, когда отступают уже послѣдніе защитники и убѣгают послѣдніе из убѣгающих обывателей, но наступающій враг еще робѣет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустѣл все страшнѣе, все безнадежнѣе для оставшихся в нем и мучающихся еще не полной разрѣшенностью своей судьбы. По окраинам, возлѣ вокзала и на совершенно вымерших улицах возлѣ почты и государственнаго банка, гдѣ на мостовых уже лежали убитые, то и дѣло поднимался треск и град винтовок или спѣшно, дробно строчил пулемет...

«Темнѣло, орудійная, а за нею и ружейная стрѣльба смолкла, и в этой тишинѣ и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось: всему конец. Чувствовалось, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполнѣ беззащитен от вваливающихся в него побѣдителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убійство, голод и лютое рабство для всѣх поголовно, кромѣ самой подлой черни. В городѣ не было ни одного огня, порт был необычайно пуст, казался безпредѣльным, — «Патрас» уходил послѣдним. За рейдом терялась в сумрачной мглѣ пустыня голых степных берегов. Вскорѣ пошел мокрый снѣг... Мы уже двигались, — все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно заклубилась вода из под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выравнялись и пошли полным ходом...

«Не раздваясь, я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шу-

мом стекало и бурлило — противно, как в каком-то чудовищном чревѣ. И, понемногу пьянѣя, отдаваясь все безвольнѣе в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бѣшеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылетѣть из нея... В полуснѣ, в забытїи, я что-то думал, что-то вспоминал... Клонило в сон, в дурман, и опять все лѣзло куда-то вверх, скрипѣло, отчаянно боролось — и все лишь затѣм, чтобы опять неожиданно разрѣшиться срывом, тяжелым ударом и новым пружинным под'емом и новым шипѣніем бурлящей, стекающей воды и пахучим холодом завывающаго вѣтра и клокочущим ревом захлебывающагося умывальника... Вдруг я совсѣм очнулся, вдруг всего меня озарило необыкновенно ярким сознанием: да, так вот оно что, — я в Черном морѣ, я на чужом пароходѣ, я зачѣм-то плыву в Константинополь, Россіи — конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если и случится чудо, и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучинѣ! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?

«Конец, конец!»

К счастью, это не был конец. Это не только не был конец, как казалось Бунину в роковой день разлуки с Россіей — неожиданно для него самого это было началом новаго періода его жизни, творческой работы, когда талант развернулся шире, глубже.

Жизнь как будто и в самом дѣлѣ надо было начинать с начала — впереди сколько-нибудь опредѣленнаго ничего не было. Неожиданно предложил ему читать лекціи болгарскій университет. — «О чем?» — О чем сами захотите... — И он, в самом дѣлѣ, неожиданно для себя был утвержден профессором университета, но утверждение пришло, когда он был уже в Парижѣ. Тянула к себѣ «столица міра», средоточіе русской жизни внѣ русских предѣлов. А главное — манила работа в любимой области, и он отказался от профессуры, хотя матеріально она его и обезпечивала. Рѣшил устроиться на жизнь во Франціи — единственное мѣсто, гдѣ жизнь казалась ему возможной, кромѣ Россіи. В Парижѣ отдохнул, окрѣп, успокоился. Но писать еще не мог — все недавно пережитое лежало на душѣ стопудовой тяжестью. Да и вообще он с трудом писал в больших городах — ему нужна была сельская тишина, возможность сосредоточиться, уйти в собственныя переживанія. К литературной работѣ он вер-

нулся только в маленьком старинном городкѣ Амбуазѣ на Луарѣ, гдѣ провел лѣто. Там он начал писать и прозу и стихи...

Он долго искал мѣста для жизни, как птица ищет мѣста для гнѣзда. И, наконец, нашел его на югѣ Франціи, в солнечном и ласковом Провансѣ. Над городом Грассом, в старом саду, он нашел скромный провансальскій домик, расположенный на склонѣ горы. Добраться до него можно лишь по извилистой каменистой тропинкѣ. Внизу старинный город с узкими средневѣковыми улицам, тихой провинціальной жизнью, вскипающей только в часы рынка, когда приносят с гор овощи, фрукты и цвѣты и рыбу с берега моря. Прекрасное, чистое и тихое мѣсто, безмѣрный в красотѣ своей и в благородствѣ провансальскій пейзаж с морем на горизонтѣ — каменистая коричневая сухая почва, пыльно-серебряныя оливы, весной — море цвѣтов. С виллы «Бельведер» открывается широкій вид на город с его старинными башенками, на далекое море, видимое в ясную погоду, на прибрежныя горы, как в сторону Ниццы и Италіи, так и в сторону Эстереля и Мавританских Альп.

Здѣсь безвыѣздно с 1923 года и живет Бунин, выѣзжая лишь на нѣсколько зимних мѣсяцев, насколько позволяли средства, в Париж, гдѣ у него много друзей. Сюда, на скромную виллу «Бельведер», 9-го ноября 1933 позвонили по телефону из Стокгольма, чтобы сообщить о присужденіи Бунину нобелевской преміи. Послѣдніе четыре года Бунин живет на другой виллѣ — «Жаннетт», расположенной тоже в полу-горѣ, над городом.

«Солнечно, свѣтло и холодно. Я выхожу из д'ма в сад, ступами идущій вниз, на усыпанную гравіем площадку под пальмами, откуда видна цѣлая страна долин, моря и гор, сіяющая солнцем и синевою воздуха. Огромная лѣсистая низменность, все повышаясь своими волнами, холмами и впадинами, идет от моря к тѣм предгорьям Альп, гдѣ я. Подо мной на крутом каменистом отрогѣ, громоздится вокруг остатков своей древней крѣпости с первобытно-грубой сарацинской башней одно из самых старых гнѣзд Прованса, то есть тоже нѣчто весьма грубое, сѣрое, каменное, уступчатое, воедино слитое, сверху чешуйчатое, как бы ржавое, коряво-черепичное. Вправо — синѣющіе в вѣчной солнечной дымкѣ хребты Эстереля и Мор. На горизонтѣ впереди — высоко поднимающаяся к свѣтло-туманному небу бѣлесая туманность далекаго моря.

Горбатый мысhalbво тонет в утреннем морском блескѣ, зыбко окружающем его. Поднимающійся мистраль прилетает порой в сад, волнует жесткую и длинную листву пальм, сухо, знойно-холодно, точно в могильных вѣнках, шелестит и шуршит в ней... Ночью на моей горѣ все гудит, ревет, бушует от мистрала. Я просыпаюсь внезапно... Стремительно несется мистраль, вѣтви пальм, бурно шумя и мѣшаясь, тоже точно несутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мнѣ рѣзко бьет холодом, над головой разверзается черно-вороненое, в бѣлых, синих и красных пылающих звѣздах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...» («Жизнь Арсеньева»).

Весенним утром легкой вѣтер доносит сюда острый и нѣжный аромат розовых, нарцисовых и жасминовых полей. Грасс — центр парфюмерной промышленности Франціи; с окружающих его полей увозят на парфюмерныя фабрики, расположенныя в самом городѣ, цѣлыми вагонами лепестки душистых цвѣтов. Провансальскіе крестьяне здѣсь издавна заняты на лугах этой своеобразной промышленностью. Воздух молод и насыщен ароматами. В саду цвѣтут пышные южныя цвѣты, гяцинты, нарциссы, множество бѣлых лилій и синих ирисов, с горячей от солнца стѣны свѣшиваются цвѣтуція здѣсь круглый год розы, слышен пряный дурманящій аромат цвѣтущих апельсиновых деревьев. В концѣ весны вишневыя деревья возлѣ самой виллы отягощены ягодой.

Но лѣтом, если нѣтъ вѣтра, знойно. Так знойно, что вилла с утра стоит с закрытыми окнами и ставнями — единственный способ спастись от жары. Безжалостное солнце горячими потоками заливаает серебряныя оливы и напрасно старается высушить как бы вырѣзанныя из темно-зеленой жести агавы; камни нагрѣваются солнцем так сильно, что до них нельзя дотронуться рукой. Хорошо, кажется, одним ящерицам, которыя замирают на горячих камнях, и цикадам — онѣ стрекочат тѣм сильнѣе, чѣм жарче день. В эти знойныя дни Бунин прячется не только от жары, но и от свѣта — он принимает всѣ возможныя мѣры, чтобы изнутри укрыться от солнца, вплоть до заклеиванія всѣх щелей бумагой. Только спрятавшись от всѣх внѣшних впечатлѣній, может он работать лѣтом. И только вечером, перед закатом солнца, всѣ выходят на площадку перед виллой, под гостепріимный кров бельведерской широколистой пальмы, гдѣ садятся за ужин вокруг вынесеннаго из столовой стола.

Лучшее, пожалуй, здѣсь время года — поздняя осень. В эти осенніе дни воздух особенно тих, легок и прозрачен — утра длятся дольше обычного. Тѣни, легки, солнце ласково. Море кажется ближе и от него будто вѣет приятной прохладой.

В зимніе мѣсяцы бывают дожди — это самое грустное время в Провансѣ, потому что дожди иногда длятся недѣлями. Тогда всѣ настраиваются на зимній лад и любят сидѣть по вечерам вокруг желѣзной печки в большой комнатѣ самого Бунина. По ночам бывает так холодно, что никак не удается согрѣть, как слѣдует, каменную лѣстницу, ведущую во второй этаж. Но и в зимніе мѣсяцы выпадают чудесные дни, когда солнце не только свѣтит, но и грѣет. Такіе дни — не так уж и рѣдкіе на благословенном югѣ — кажутся чудесным подарком судьбы, который принимается с благодарностью. Тогда надо надѣвать лѣтніе костюмы, но немедленно облачаться в пальто, когда солнце прячется. Переходы от дневного лѣтняго тепла к вечернему и ночному зимнему холоду кажутся удивительными.

В дружеских литературных кругах виллу «Бельведер» зовут «монастырем муз», потому что работает в ней не только Бунин, но и его жена, Вѣра Николаевна, и молодые писатели, которые всегда живут с ними. Трудно и вспомнить всѣх, кто побывал под широкой пальмой, за чайным и обѣденным столом «Бельведера». Мережковскіе, Тэффи, Борис Зайцев, Алданов, Ходасевич, Рахманинов, проф. Ростовцев — и многіе, многіе другіе поднимались по каменистой тропинкѣ к виллѣ на денек, на два, а то и на мѣсяц и больше, потому что Бунины — хозяйева гостепріимные и радушные. Встает Бунин рано, когда солнце еще низко, любит умываться на воздухѣ, у крана в саду. Все утро работает в своей комнатѣ. Выходит только к почтѣ около двѣнадцати часов, когда снизу из города поднимается почтальон с газетами и письмами. Послѣ завтрака опять за работу до чая. Иногда прогулка куда-нибудь — вниз, в долину или вверх, в горы, через площадку принцессы Полины, сестры Наполеона, жившей когда-то в Грассѣ и любившей сидѣть на сохранившейся еще от ея времени каменной скамьѣ... Но иные дни Бунина не видно совсѣм — безвыходно работает в своей комнатѣ. — «Писательство — труд, труд усердный и каторжный», — любит повторять Бунин, и в отношеніи его самого это не кажется преувеличеніем, если знать распорядок его жизни. Вечером он любит читать вслух. Тогда все населе-

ніе дома — в его комнатѣ. Мирно горит свѣтъ, в зимніе вечера гудит печка, сидят кто на диванѣ, кто просто на кровати. Читает Бунин русских, читает и французов — среди послѣдних Моріака, котораго очень любит. Слушать Бунина одно наслажденіе, потому что чтец он изумительный. Эти тихіе идиллическіе вечера напоминают чѣм-то далекое время, когда коротали время в деревенской русской глуши помѣщичьи семьи...

Кто то сказал про Бунина, что «у него лицо римлянина-патриція». И, дѣйствительно, его красивое и породистое лицо со строгими чертами кажется чуть ли не олимпійским, почти надменным. И это, как будто, вполне отвѣчает его гордому таланту, тому пронзительному и холодному воздуху, напоминающему разрѣженный воздух горной вершины, который, как будто, пронизывает его литературныя произведенія. Такое впечатлѣніе и он и его литературныя работы производят на тѣх, кто с ними только соприкасается. Но если подойти к Бунину-человѣку ближе, если глубже вникнуть в его литературныя произведенія, впечатлѣніе мѣняется. Перед вами живой и искрометный человѣкъ, горячій и вакхически неукротимый в веселии, страстно любящій жизнь и ея блага, charmeur и очаровательный собесѣдник. Не случайно нѣжно и крѣпко его любил Чехов, человѣкъ большой скрытой нѣжности и искренности. Что всего больше поражает в Бунинѣ, это его необычайная многосторонность, артистичность его натуры. Недаром руководитель Московскаго Художественнаго Театра, знаменитый Станиславскій, звал его когда-то в театр. И весьма возможно, что, если бы он не сдѣлался знаменитым писателем, из него вышел бы замѣчательный актер. Он еще и сейчас может поразить cadaго, то изобразив цыгана на ярмаркѣ, то подвыпившаго помѣщика, прѣхавшаго кутить в маленькій город, то разгулявшагося на деревенской ярмаркѣ мужика, неожиданно пустившагося в присядку (здѣсь Бунин, просматривавшій настоящую рукопись, не удержался и прибавил на полях: «Маріуса из Марселя еще лучше могу» — Маріус — популярный среди французов тип южанина, добродушнаго хвастуна, говорящего на особом марсельском нарѣчій). Танцует, кстати сказать, «русскую» Бунин с артистической легкостью, так хорошо идущей и приставшей к его донинѣ положительно юношески стройной и легкой фигурѣ. Поражает при этом, что свой эффект преображенія он достигает какими-то, как будто, совершенно ничтожными усиліями: прищурит глаз,

дернет щекой, поведет чуть-чуть плечом — и перед вами вдруг не Бунин, а знакомый, котораго он хочет изобразить. И самое преображеніе или перевоплощеніе у него происходит, повидимому, самопроизвольно: рассказывает, что в юности изучал польскій язык и читал Мицкевича и вы вдруг чувствуете в его великолѣпной полнозвучной русской рѣчи легкой польскій акцент, отдастся в бесѣдѣ литературным воспоминаніям — и вдруг перед вами проходят Горькій, Брюсов, Блок, Бальмонт...

Способность импровизаціи у Бунина органическая — неожиданныя сравненія, краткія и яркія характеристики, острия — иногда и пряныя — словечки срываются с его языка, как будто от богатства природы, как будто он не может удержать их в себѣ. Когда Бунин в ударѣ, он щедро сыпет ими, вызывая в окружающих дружный смѣх. Они вылетают из него, как искры, и только жалѣешь, что нѣтъ возможности все запомнить, записать. Иногда кажется даже, что в жизни он талантливѣе, богаче, ярче, чѣм в своих произведеніях. Это и не удивительно, так как все на бумагѣ он тщательно и много раз отдѣлывает, благодаря чему все им написанное строго, а для невнимательнаго человѣка даже сухо. В строгости его работы я мог убѣдиться однажды на слѣдующем. Гостя у Ивана Алексѣевича в Грасѣ, на его виллѣ «Бельведер», я жил в его рабочем кабинетѣ. На полкѣ увидел книги Бунина разных изданій. Просматривая их, я замѣтил много собственноручных исправленій в текстѣ. И, сравнивая их, убѣдился, что всѣ исправленія состояли из одних лишь сокращеній — он удалял из текста все лишнее, все, без чего м о ж н о было обойтись. И я вспомнил завѣтъ Чехова молодым писателям. — «Из написаннаго разсказа, — говорил Чехов, — прежде всего вычеркните начало и конец — оставьте только середину. Потом просмотрите каждую строчку и вычеркните все, без чего можно обойтись. Оправдано должно быть каждое слово — если в вашем разсказѣ упомянуто, что на стѣнѣ кабинета висѣло ружье, это ружье обязательно должно выстрѣлить». — Бунин, несомнѣнно, слѣдовал этому завѣту — в его произведеніях никогда нѣтъ ничего «лишняго». Отсюда — крѣпость, убѣдительность и нѣкоторая «сухость» — вѣрнѣе, строгость — его языка. На его страницах, воистину — словом тѣсно, мыслям просторно. И поэтому читать Бунина надо медленно.

В личных разсказах добавьте к этому живую интонацію,

прекрасный язык, богатство вмѣсто скупости, игру лица, блеск глаз — и вы поймете, сколько очарованія может быть в его живых разсказах. Я всегда мечтал о том, что кто-нибудь из близких Ивану Алексѣвичу догадается записывать живую рѣчь его, его разсказы, мгновенныя характеристики, сказанныя мимоходом словечки. Если это не сдѣлано, многое о Бунина пропадет для позднѣйших поколѣній, — всего Бунина не смогут передать его произведения. В свое время я пробовал дѣлать такія записи: разсказы о Чеховѣ, его жизни в Крыму и его женитьбѣ, о поѣздкѣ Бунина с Шаляпиным и Горьким (какая тройка!) по Италиі, о «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Карениной», о Достоевском — все это осталось и, вѣроятно, погибло в Европѣ...

Сколько милаго очарованія в разсказах Бунина о провинціальных событіях в Грассѣ, за которыми он любит слѣдить, об избирательной кампаніи, выборах мэра, о мѣстном парикмахерѣ-философѣ с его разсужденіями о значеніи той или другой погоды для Грасса, сколько юмора и смѣха — не всегда беззлобнаго — в его наблюденіях над собирающейся на Ривьерѣ и в Монте-Карло международной толпой туристов... Забываем его разсказ о поѣздкѣ в Стокгольм, о врученіи ему нобелевской преміи шведским королем, о многочисленных стокгольмских банкетах и чествованіях... Как жалко, что эти проявленія художественной и артистической природы Бунина нигдѣ и никак не закрѣплены и не могут быть закрѣплены!

Нобелевская премія не пришла для Бунина совѣм неожиданно — в теченіе послѣдних трех лѣтъ его называли в прессѣ, как одного из наиболѣе вѣроятных кандидатов, и он сам, конечно, не мог относиться равнодушно к такой возможности. Помимо вполне естественнаго чувства гордости и радости, нобелевская премія должна была и матеріально измѣнить весь строй жизни Бунина.

Вот как сам он разсказывал об этом днѣ.

«В это утро встал я, по обыкновенію, раньше всѣх. Отправился на кухню, стал кофе молоть. Верчу ручку мельницы и думаю: — Сегодня 9 ноября. В Стокгольмѣ нобелевскую премію присуждают. Я в числѣ кандидатов. Но об этом не надо думать, не слѣдует...

Выпил кофе и сѣлъ писать. А часа в два рѣшил, что день выдался какой-то плохой. Лучше пойти в سینема.

Пошел. И совершенно все забыл. И фильм такой попался

— с Кисой Куприной (дочь А. И. Куприна). — «Ай да Киса», — думаю... Вдруг ударяет в глаза электрической фонарик. Из темноты Зуров на меня надвигается (Л. Зуров — молодой русский писатель, живущий у Бунина на виллѣ «Бельведер»). Трагически шепчет:

— «Телефонный звонок из Стокгольма. Вѣра Николаевна очень волнуется. Просит поскорѣ домой придти...»

Первое, что я испытал: жаль, не увижу, что с Кисей станет в концѣ фильма. Отправилась домой. По дорогѣ разпрашиваю: — что, собственно, сказали?

— «Непонятное что то... Премія Нобеля... Ваш муж...»

— А дальше?

— «Дальше не разобрали».

— Не может быть. Вѣрно, еще какое-нибудь слово было. Напримѣр: не вышло, сожалѣем, дескать...

Дома застаю Вѣру Николаевну в большом волненіи.

— «Как будто премію тебѣ присудили».

А человек я недоверчивый. Я человек не честолюбивый, но очень самолюбивый. Но, как будто, и впрямь присудили. Опять звонок из Стокгольма, из газеты «Свенска Дагеблат». спрашивают, какія мои впечатлѣнія. Рад, говорю, и счастлив...

Потом телеграммы посыпались. Надо вам сказать, что за доставку каждой телеграммы к нам в «Бельведер» почтальон взysкивает 5 франков. Десять телеграмм, потом еще десять... Обуял меня страх: нѣтъ денег! Я уж думал: не уйти ли мнѣ, как Толстому, из дому... Да вот — жена останется. Жаль. Дальше подробностей не помню».

Бунин при этом не упоминает о том, что пришлось сбѣгать на почту — попросить, чтобы не каждую отдѣльно телеграмму доставляли, а ждали, пока их накопится побольше — платить было нечѣм...

В Парижѣ Бунина встрѣтила на вокзалѣ группа друзей. Проплывают зеркальные стекла вагонов. Вот на площадкѣ появляется знакомая стройная фигура. Бунин протягивает руки к друзьям... Вспыхивает магній фотографа. Бунин, еще не вошедшій в роль нобелевскаго лауреата, растерянно улыбается.

А через четверть часа в холлѣ первокласснаго отеля «Мажестик», в кварталѣ Этуаль, разыгрывается слѣдующая сцена.

Бунин просит небольшую, спокойную комнату, окнами на двор. Дирекція просит писателя с мировым отнынѣ именем

сдѣлать честь и за цѣну маленькой комнаты занять цѣлый апартамент.

Бунин покорно слѣдует за лакеем и на ходу бормочет:

— Боже, защити меня от зависти, от недоброжелательства, от фотографов и журналистов...

Телефонный звонок прерывает его тихую молитву. Управляющий отелем сообщает:

— Мосье Бунина спрашивают внизу журналисты...

Когда кто-то из них заикнулся о мировой славѣ, Бунин сказал:

— Ну, что-ж слава... Награда застала меня среди горячей литературной работы. Работу пришлось прервать. Жалко...

Присужденіе нобелевской преміи Бунину радостно было встрѣчено всѣми русскими, без различія взглядов. Для них это был прежде всего р у с с к і й праздник — едва ли не первый послѣ долгих лѣтъ, когда приходилось выносить лишь удары судьбы... В день полученія извѣстія о присужденіи нобелевской преміи русскому писателю русскія лица сіяли. Это для всѣх них было прежде всего признаніем русской литературы, того вклада, который она сдѣлала в общечеловѣческую культуру — независимо от преходящих вліяній той или другой политической власти, того или другого политическаго теченія. Именно поэтому, по словам одного французскаго писателя, сдѣланный шведской Академіей в Стокгольмѣ выбор «приобрѣтал глубоко патетическое значеніе». Превыше всѣх мелких разногласій был поставлен талант и его высшій носитель — человек. Как сказал во время своего чествованія в Стокгольмѣ сам Бунин — «и при наличіи самых разных политических, философских и религіозных взглядов есть нѣчто связывающее всѣх людей: это то уваженіе к свободѣ мысли, к свободѣ совѣсти, которое является общим достояніем людей, основой их цивилизованнаго бытія».

Нобелевская премія русскому писателю оказалась символична: из всѣх возможных кандидатов Бунин был единственный, за которым не могло стоять никакой силы, никаких внушеній или вліяній. Тѣм болѣе неожиданным должно было всѣм показаться присужденіе нобелевской преміи именно ему: преодолѣны были всѣ политическія препятствія и міру было показано, что русская культура едина и недѣлима. Шведская Академія присудила премію р у с с к о й литературѣ, не считаясь с тѣм, гдѣ находится человек, достойный представлять высшее достиженіе в общей работѣ русской ли-

тературы. Этим актом был прекращен недостойный и нелѣпый спор о том, какая литература выше — русская-совѣтская или русская-эмигрантская. Правы оказались тѣ, кто говорили: нѣт литературы совѣтской, нѣт литературы эмигрантской — есть литература р у с с к а я .

И присудив міровую премію человѣку, не пожелавшему склониться перед насиліем, шведская Академія лишній раз напомнила, что человѣчество не может существовать без свободы.

И, может быть, это чувствовалось всѣми. Имя Бунина во всѣх безчисленных мѣстах русскаго разсѣянья на нѣкоторое время сдѣлалось лозунгом объединенія, всѣ споры вокруг него умолкали. Многочисленные в Парижѣ русскіе шоферы такси, узнавая Бунина, отказывались брать с него деньги, русскіе рестораны считали за честь посѣщеніе их Буниным и старались угостить его на славу, блеснув во всю русским хлѣбосольством... В самом Стокгольмѣ, в дни чествованія нобелевских лауреатов и передачи им премій шведским королем, Бунин был самым популярным человѣком. За все время существованія нобелевской преміи, т. е. с 1901 года, ни одного писателя не чествовали с такой сердечностью. Бунин был первым русским писателем, получившим это высшее міровое признаніе. Осуществилось, наконец, пророческое пожеланіе Георга Брандеса, сказавшаго на закатѣ своих дней: «я первый обратил вниманіе в Скандинавіи на бездонную глубину русской литературы, и никто болѣе меня не может скорбѣть о том, что она до сих пор не получила высокаго мірового вѣнчанія — нобелевской преміи»...

**

Аппартамент Бунина в роскошном парижском отелѣ «Мажестик». Разговору нашему то и дѣло мѣшают: стучат в дверь, приносят какія-то телеграммы, пакеты с газетными вырѣзками, подают визитныя карточки, звонят по телефону.

Приходит один фотограф, другой... Приносят пробныя фотографическія карточки. — «Это что за индѣйская старуха? Милый мой, зачѣм же такія морщины?» — К пріятелю: — «А ты зачѣм пришел?» — Пріятель (нѣсколько смущенно): — «Во первых, ты сам мнѣ на четыре часа назначил, а затѣм пришел проститься — я надолго уѣзжаю». — «Правда, правда. Но я сейчас ужасно занят важным дѣлом (жест в мою

сторону). Ну, Господь с тобой». — Цѣлуются. Бунин подписывает многочисленныя фотографіи поклонникам и поклонницам.

Звонит телефон. Издательское бюро. — «Как обстоит дѣло с изданіем полнаго собранія сочиненій на русском языкѣ? Кому переданы американскія права?...» Кто то просит указаній о помѣщеніи денег, о списаніи 20.000 крон со стокгольмскаго счета, об открытіи текущаго счета в Парижѣ... Напоминают об обѣщаніи помочь «старику», у котораго срок платежа наступает в субботу. — «А не врет он, старик?». Стучат в дверь. — «Готовы ли гранки французскаго перевода «Господина из Сан-Франциско»? — Бунин, в одном жилетѣ, — надѣтъ пиджак нѣтъ времени! — комично воздѣвает вверх руки. — «Водевиль! Настоящий водевиль!»...

**

Ниже приведены выдержки из нѣкоторых дословных записей бесѣд с Буниным того времени. Онѣ позднѣе были просмотрѣны им самим, а потому с полным основаніем могут считаться авторизованными.

— «Вы хотите знать мою духовную родословную? Ну, этого я не знаю и даже не понимаю. Я не раз слышал мнѣніе, будто происхожу от Толстого и Тургенева. Почему именно от них? Был Пушкин, был Лермонтов, Гоголь... Как можно прослѣдить вліяніе одного писателя на другого? Кого любил, тот на тебя и вліял. Важна у каждаго своя нота — она или обогащается или развивается. И вліяет не только литература, но и жизнь. Нѣкоторые говорят, что у меня реализм от Толстого, а словесная форма от Тургенева... Невѣрно. Разверните Тургенева и рядом положите мою книгу — у Тургенева звуковое теченіе рѣчи, ея строй — один, у меня — другой, совсѣм не похожий. И развѣ Тургенев не реалист? Конечно, реалист. Если же он описывает своих героев и героинь болѣе мягкой, романтической манерой, если его Лиза романтичнѣе Наташи, то это лишь свидѣтельствует, что два разных человека пишут два разных портрета. Я пишу болѣе крѣпкой краской, чѣм, напр., Тургенев, — вот и разница. Один изображает мягче, другой — рѣзче.

— «И невѣрно, будто Толстой не придавал значенія тому, как у него звучит фраза, не обращал вниманія на форму. Между прочим и стихотворную форму от отрицал лишь

позднѣ. Форма не отдѣлима от содержанія, форма есть послѣдствіе, порожденіе индивидуальнаго таланта и того, что он хочет сказать. Я видѣл рукопись и корректуры «Хозяина и Работника» — так вѣдь он чуть не сто корректур держал! Кажется, Страхову писал или чуть ли не верхового посылал по поводу запятой или замѣны «а» на «но». Нѣтъ, Толстой придавал огромное значеніе, как фраза звучит и очень заботился о разстановкѣ слов. О внѣшней формѣ у него была страшная забота, но только он понимал это иначе. Другой сознательно занимается аллитераціей, подбирает, напримѣр, шипящія слова и буквы, а Толстой никогда не обращал вниманія, шипит или рычит у него фраза. А если это и происходило, то было результатом подсознательнаго, как и у народа, когда складывается язык. Однажды мы заспорили с Бальмонтом. Он сослался на примѣр Пушкина, который, будто бы, намѣренно прибѣгал к аллитераціи... Но вѣдь это происходило у него бессознательно! Вспоминая, Пушкин слышал, чувствовал шум деревьев и бессознательно выбирал такія слова, которія передавали этот лѣсной шум, тѣм самым напоминая переживание. И развѣ сами слова не так рождаются? Когда они рождались, люди не думали об этом. Сам народ создавал звукоподражательныя слова. Так и Толстой слышал, что фраза должна быть такой, а не иной... У Толстого есть корявыя фразы, это всѣм извѣстно, есть и грамматически неправильныя, но невѣрно, будто он сам свою фразу рубил, если ему казалось, что она слишком красива. Да я и не знаю другого писателя, у котораго бы так мало была замѣтна форма. Это — стекло, настоящее прозрачное стекло, котораго не замѣчаешь. А это и есть высшее достиженіе. Читая Тургенева, наоборот, всегда чувствуешь форму, работу над фразой. Видишь, как она искусно построена, замѣчаешь, как разставлены знаки препинанія. Знаки препинанія — вещь очень важная! Надо знать и чувствовать, гдѣ слѣдует поставить запятую, гдѣ — тире. Нельзя зря сыпать, напримѣр, многоточія, как это дѣлает Короленко. А у Тургенева знаки препинанія разставлены с манерностью — это отвлекает читателя...

— «Конечно, как ни будь самостоятелен писатель, у него всегда можно найти сходство с другим. Люди без рода и племени не бывают. Всѣ мы приходим от родителей. В ребенкѣ ищут черты сходства то с отцом, то с матерью, с дѣдом, с бабушкой — конечно, все это должно быть в нем! В каждом ребенкѣ есть смѣсь черт его родителей и предков — но

есть и свое. Поэтому — может быть, Толстой, может быть, и Тургенев, влияли на меня. Но почему не Гоголь? Гоголя я страстно любил с дѣтства, он навсегда вошел в меня какой-то частью. Я и сейчас наизусть помню мѣста из «Старосвѣтских Помѣщиков» и «Страшной Мести», они меня и теперь, как всегда, волнуют. Гоголь, считаю, отразился на построении нѣкоторых фраз — длинных періодов — в «Господинъ из Сан-Франциско» и вообще в этом періодѣ моей литературной дѣятельности.

— «Достоевскій? Толстой больше Достоевскаго. Вот уж могу сказать, что любить Достоевскаго никогда не любил! Перечитывал Гоголя, Пушкина, Тургенева, Толстого (без конца!), даже Чехова, но вот никогда не тянуло перечитывать Достоевскаго. Конечно, писатель и человек он совершенно замѣчательный. Но я беру форму разсказа Достоевскаго. Что это такое! Он хватает вас за лашканы сюртука, за горло, загоняет в угол, брызжет слюной, старается, как в припадкѣ, вас в чем-то ему нужном убѣдить и все в одном и том же. — Да оставьте меня, ради Бога, в покоѣ! Отстаньте! Я уже все давно понял — что же вы мнѣ долбите одно и то же! — Достоевскій прежде всего хочет на вас в о з д ѣ й с т в о в а т ь и тѣм нарушает художественную эстетику. Вѣдь всякое искусство условно. Надѣньте на Венеру юбку, пеплум, вставьте ей глаза, надѣньте ей на палец золотое кольцо — что это будет? А Достоевскій эти условія и нарушает. Діалоги у него занимают цѣлый том — это же невозможно, невѣроятно, — хоть бы передохнул немного. Все у него чрезмерно и поэтому я многому не вѣрю. Убивает в Достоевском главным образом то, что написал он двадцать томов романов и всѣ они об одном и том же: всюду он сам, всюду электрическая любовь, inferнальная женщина, всюду Лебядкин или полусумасшедшій-полуидіот! Мнѣ мой брат Юлій говорил: — когда вырастешь, будешь Достоевскаго читать — возьмешь, не оторвешься! — И вот настало время — я был еще мальчиком — взял с замираніем сердца «Братьев Карамазовых»... Что же это такое? И это Достоевскій? Первые 150 страниц заняты ссорами Федора Павловича и на них 150 раз говорится одно и то же. Но мнѣ достаточно и раз сказать, чтобы я понял...

— «Правы тѣ, кто меня причисляет к пушкинской линіи русской литературы. Я изображаю, я никого не стараюсь ни в чем убѣдить, — я стараюсь з а р а з и т ь. Пушкин —

вот самая здоровая и самая настоящая струя русской литературы и стихия Россіи. Европейцы удивляются, если находят в русском писателѣ уравновѣшенность, ясность, свѣтъ, солнечность. А развѣ все это не Пушкин? И развѣ не русским был Пушкин? Пушкин — это воплощеніе простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, мѣры, вкуса. Подражал ли я ему? Да кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я — в самой ранней молодости подражал даже в почеркѣ... Много, много раз в жизни испытывал страстное желаніе написать что-нибудь по пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желаніе, происходившіе от любви, от чувства родства к нему, от тѣх свѣтлых настроеній, что Бог порою давал в жизни. Думал и вспоминал о Пушкинѣ, когда был на гробницѣ Виргилія, под Неаполем, во время странствій по Сициліи, в Помпеях... А вот лѣто в псковских лѣсах — и соприсутствіе Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его ногам, в страхѣ своей недостойности и перед ним и перед всѣм тѣм, что породило нас... А вот изумительно чудесный лѣтній день дома, в орловской усадьбѣ. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. Послѣ завтрака перечитываю «Повѣсти Бѣлкина» и так волнуюсь от их прелести и желанія тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно и долго, долго лежу в травѣ, в страхѣ и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной работы, которой полно сердце и воображеніе, и чувствуя безконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому лѣтнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному міру моих отцов и дѣдов и всѣх их далеких дней, пушкинских дней... Как же учсть, как рассказать о его воздѣйствіи? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россія? Когда я узнал и полюбил ея небо, воздух, солнце, родных, близких? Вѣдь он со мной — и так о с о б е н н о — с самага начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школѣ: в той средѣ, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас — отец, мать, братья. И вот одно из самих ранних моих воспоминаній: медлительное, по старинному, нѣсколько манерное, томное и ласковое чтеніе матушки:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цѣпь на дубѣ том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цѣпи кругом;
Идет направо — пѣснь заводит,
Налѣво — сказку говорит...

— «В необыкновенном обожаніи Пушкина прошла вся молодость моей матери — ея и ея сверстниц. Онѣ тайком переписывали в свои завѣтныя тетрадки «Руслана и Людмилу» и она читала мнѣ наизусть цѣлыя страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой... И вся моя молодость прошла тоже с Пушкиным.

— «Нѣкоторые критики считают меня писателем жестоким и мрачным. Мнѣ кажется это несправедливым и неточным. Конечно, много меда, но еще больше горечи нашел я в своих скитаніях по всему міру, в наблюденіях над человѣческой жизнью. Когда я рисовал Россію, я уже испытывал смутное предчувствіе ожидающей ее судьбы. И развѣ это моя вина, если дѣйствительность свѣше всяких мѣр оправдала мои опасенія? Развѣ та картина народной жизни, которую я рисовал и которая самим русским казалась тогда слишком мрачной, не превратилась в достовѣрность, которую до сих пор отрицают? — Горе тебѣ, Вавилон, город крѣпкій!» — эти страшныя слова звучали в моей душѣ, когда я писал «Господина из Сан-Франциско», за нѣсколько мѣсяцев до великой войны, предчувствуя неслыханныя ужасы и провалы, таившіяся в нашей культурѣ. И развѣ это моя вина, что и в этом отношеніи мои предчувствія меня не обманули?

— «Но значит ли это, что душа моя полна мрака и отчаянія? Нисколько! «Как лань, жаждущая воды источника, стремится моя душа к Тебѣ, о Господи!» Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем?... Одно хорошо: от жизни человѣчества, от вѣков поколѣній остается на землѣ только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое в концѣ концов не оставляет слѣда: его нѣтъ, не видно. А что осталось, что есть? Лучшія страницы лучших книг, преданія о чести, о совѣсти, о самопожертвованіи, о благородных подвигах, чудесныя пѣсни и статуи, великія и святыя могилы, греческіе храмы, готическіе соборы, их рай-

ски-дивныя цвѣтныя стекла, органныя громы и жалобы, Dies Irae и «Смертію смерть поправ»... Остался, есть и во вѣки будет Тот, Кто, со креста любви и страданія, простирает своим убійцам неизмѣнно нѣжныя об'ятія, и Она, Единая, Богиня богинь, Ея же благословенному царствію не будет конца».

В. Зензинов.